

The image shows two soldiers in full combat gear, including helmets and tactical vests, walking away from the viewer on a dirt path through a forest. The path is covered with fallen autumn leaves. In the background, a tall, lattice-structured metal tower stands prominently against a backdrop of misty, forested hills and a cloudy sky. The overall atmosphere is somber and mysterious.

Сигнал из мёртвой зоны

Александр Восьмой

Александр Восьмой

Сигнал из мёртвой зоны

«Автор»

2026

Восьмой А.

Сигнал из мёртвой зоны / А. Восьмой — «Автор», 2026

Спецгруппа получает сигнал бедствия из района, закрытого после катастрофы. По мере продвижения связь пропадает, карты врут, а в эфире звучит голос командира, погибшего год назад. Им предстоит выяснить, кто или что продолжает «вести» операцию. Они выходят на рассвете — четверо. Дрозд тащит Серова, который без сознания. Лана держит рацию — эфир чист, впервые за всю операцию. Тэмура — последним, он оглядывается на вышку. Огни на ней погасли. Ким подсчитывает пульс Серова — сто двадцать. Он возвращается. На поверхности — Рысь. Она ждала у периметра. Она не ушла. Она жгла костёр и держала верёвку, на случай если кто-то выйдет. Дрозд говорит: нужно затопить «Глубину» окончательно. Серов приходит в себя в госпитале и просит убрать рацию из палаты. Он больше не слышит голоса. Но в три часа ночи, когда больница спит, его телефон издаёт щелчок. На экране — сообщение. Нет номера. Нет текста. Только звук — сорок три секунды тишины. И в конце — дыхание. Его собственное.

Александр Восьмой

Сигнал из мёртвой зоны

Глава 1. Тишина на семнадцатой частоте

Бункер связи пахнул пылью, озоном и старой резиной — запахом, который въедается в кожу, стоит только провести здесь одну ночную смену. Рядовой Артём Костин поправил наушники, в которых царила привычная тишина — та самая, что бывает только на мёртвых частотах. Семнадцатая. Её списали год назад, сразу после закрытия периметра вокруг «Глубины». Официально здесь не должно было быть ничего, кроме белого шума.

Артём зевнул, глянул на часы: 03:17. До конца смены оставалось два часа, и он уже мысленно был в казарме, где на тумбочке его ждала банка энергетика и распечатанная глава манги, которую он прятал под учебником устава. Но тут стрелка индикатора вдруг дрогнула — не от помех, а как будто кто-то нажал кнопку передачи на другом конце мира.

Тишина треснула.

Сначала — короткий щелчок, похожий на треск льда под сапогом. Потом — голос.

«На связи Вектор-семь. Ждём подмогу. Мы всё ещё держимся».

У Артёма похолодели пальцы. Он резко крутанул ручку настройки, будто хотел сбросить наваждение, но голос остался — чистый, без искажений, будто говоривший сидел в соседнем кресле. Позывной «Вектор-7». Группа, которую похоронили. Полковник Воронов, их командир, погиб при эвакуации периметра ровно двенадцать месяцев назад. Тело опознали по личным вещам, по шраму на запястье, по номеру жетона. Его похоронили с почестями, под залпы, при полном строю. И теперь этот же голос — спокойный, усталый, до боли знакомый по старым брифингам — звучал в наушниках, как ни в чём не бывало.

Сигнал повторялся каждые сорок три секунды. Ровно. Механически. Как будто его запускал автомат, но говорил человек.

— Это розыгрыш, — прошептал Артём, хотя в бункере никого не было. — Это кто-то из парней... Кто-то решил подшутить...

Но никто не знал про семнадцатую частоту. Её не использовали даже для тестов. Её вычеркнули из всех расписаний.

Он сорвал наушники и тут же надел снова, словно боялся, что звук исчезнет, если он моргнёт.

«Ждём подмогу. Мы всё ещё держимся...»

Координаты, которые шли следом за голосом, вели в самое сердце Зоны Отчуждения — туда, где бетон и колючая проволока смыкались в глухой периметр, а датчики радиации молчали, будто сама земля затаила дыхание.

Артём потянулся к кнопке экстренного вызова, но рука замерла на полпути. Что он скажет? Что мёртвый полковник просит помощи? Его поднимут на смех, а потом отправят на проверку к медикам. Но если это не шутка... если там действительно кто-то есть...

В тот момент, когда сигнал повторился в третий раз, в бункере погас верхний свет. Остался только тусклый отсвет приборов — зелёных, холодных, похожих на глаза чего-то, что наблюдает из темноты.

Голос Воронова прозвучал чуть тише, будто доносился сквозь толщу воды:

— Не тяните. Здесь время течёт иначе.

И после этих слов в эфире повисла тишина — не обычная, а такая, в которой слышно, как стучит сердце.

Артём не стал нажимать кнопку вызова. Вместо этого он достал блокнот и дрожащей рукой записал координаты. Потом снял с полки запасной комплект аккумуляторов, положил в карман флешку с записью сигнала и тихо, почти бесшумно, открыл дверь бункера.

Коридор был пуст. Лампы мигали, отбрасывая длинные, ломаные тени, которые шевелились, будто живые. Где-то вдалеке хлопнула дверь — или ему показалось.

Он остановился у выхода, прижался лбом к холодному металлу шлюза и прошептал в пустоту:

— Я иду.

А в наушниках снова щёлкнуло.

«Вектор-семь на связи. Ждём...»

Глава 2. Сводка нулевого часа

Штабной бункер пах холодным металлом и напряжением — тем особенным запахом, который появляется, когда решения принимаются не за месяцы, а за минуты. На стене тикали часы, отсчитывая секунды так громко, будто хотели напомнить: время здесь — роскошь, которую уже нельзя себе позволить.

В центре комнаты стоял полковник Серов. Он не садился — будто боялся, что, опустившись на стул, уже не сможет подняться. Его тень на стене была неестественно длинной, будто сама комната пыталась его растянуть, сделать больше, значимее, чем он сам себя чувствовал. Именно он год назад подписал приказ о закрытии периметра вокруг «Глубины». Именно он тогда смотрел на карту и говорил: «Мы не можем рисковать». Теперь эта карта лежала перед ним — и казалась чужой, словно её рисовал кто-то другой, в другом мире.

Вокруг стола собрались шестеро.

Лана, связист, сидела, не снимая наушников, будто боялась потерять сигнал, как теряют дыхание. Её пальцы нервно постукивали по корпусу рации — ритм, который никто не слышал, кроме неё. Она была единственной, кто лично прослушал запись: голос Воронова, чистый, без помех, без цифрового эха. «Это не монтаж, — повторяла она, будто убеждая не других, а себя. — Это не может быть монтаж». В её глазах читался не страх, а азарт — тот самый, что появляется, когда ты стоишь на краю и видишь, как мир начинает трескаться.

Рядом с ней — Дрозд, инженер, человек, который знал «Глубину» не по отчётам, а по запаху бетона, по звуку насосов, по тому, как дрожали стены, когда буровая уходила вниз. Он сидел, скрестив руки, и смотрел на схему объекта так, будто пытался найти в ней ошибку — какую-то маленькую неточность, которая всё объяснит. Но схемы не ввали. Они просто молчали о главном.

Тэмура, боец, стоял у стены, не касаясь её, будто боялся, что она его поглотит. Бывший военный Сил Самообороны, он видел вещи, которые не вписываются в протоколы. Фукусима научила его: бывают места, где законы физики начинают шептать, а не кричать. Он не верил в призраков, но верил в аномалии. А это было похоже на аномалию, которая научилась говорить.

Ким, медик, листала распечатки показаний радиста Костина — того самого, что принёс запись. Она искала логику: посмертные рефлекс, остаточную активность мозга, галлюцинации, коллективное внушение. Но цифры не складывались. Пульс, температура, уровень стресса — всё было в пределах нормы. А значит, либо данные лгали, либо реальность дала трещину. Ким не любила трещины. Она любила чёткие линии и понятные диагнозы. Но сегодня линии расплывались.

И наконец — Рысь, проводник. Она не смотрела на карты. Она смотрела на пол, на трещины в бетоне, на то, как пыль ложится вдоль невидимых потоков воздуха. Она выросла у периметра, видела, как Зона меняет цвет неба, как птицы перестают петь на одной стороне дороги и начинают — на другой. Для неё «Глубина» была не объектом, а живым существом, которое дышит, когда никто не смотрит.

Брифинг длился девять минут. Ровно столько, чтобы озвучить факты, не успевая их почувствовать. Серов говорил сухо, по делу, но в его голосе проскальзывали паузы — те самые, где прячется сомнение. Лана подтверждала: сигнал идёт, координаты совпадают с центром

Зоны. Дрозд добавлял: на «Глубине» до затопления проводили эксперименты с низкочастотными импульсами — такими, что могли влиять на восприятие времени. Тэмура кивал, будто слышал это раньше, в другом месте, в другой жизни. Ким фиксировала: физиологически невозможно, чтобы мёртвый человек говорил по радио. Рысь молчала — она знала, что слова здесь не помогут.

На десятой минуте гас свет.

Не постепенно, не с мерцанием — резко, как обрезают нить. Только аварийные лампы вспыхнули тусклым красным, окрашивая лица в цвет запекшейся крови. В этой полутьме все стали похожи на тени самих себя — более резкие, более угловатые, будто страх заострил их черты.

— Продолжаем, — тихо, почти шёпотом, сказал Серов. Но в этом шёпоте была сталь.

Лана щёлкнула тумблером на рации. В наушниках снова прозвучал голос Воронова — спокойный, усталый, до боли знакомый: «Ждём подмогу. Мы всё ещё держимся».

Дрозд поднял глаза на Серова:

— Вы понимаете, что мы идём туда, где вы уже однажды решили не ходить?

Серов не ответил. Он просто взял со стола планшет, открыл маршрут и провёл пальцем по линии, которая вела в сердце Зоны.

Рысь тихо произнесла:

— Тропы, которых нет на картах, всегда ведут туда, откуда не возвращаются. Но если не пойти — они придут сами.

Тэмура проверил магазин, щёлкнул затвором — звук прозвучал в тишине особенно громко, как выстрел в пустой комнате.

Ким закрыла папку с отчётами и посмотрела на группу:

— Если это не аномалия, а инфекция, мы все уже заражены. Просто ещё не знаем симптомов.

Лана сняла наушники, но тут же надела снова — будто боялась, что, потеряв голос из эфира, она потеряет и связь с реальностью.

Серов сделал шаг вперёд, к выходу. Его тень на стене дрогнула, будто не хотела идти за ним.

— Группа «Фаза», — произнёс он, и голос его прозвучал твёрже, чем минуту назад. — Мы идём.

И в тот момент, когда дверь бункера начала открываться, в рации снова щёлкнуло. И голос Воронова сказал:

— Я знал, что ты придёшь.

Серов замер. Только на секунду. Но этой секунды хватило, чтобы все поняли: он не просто ведёт группу. Он идёт туда, куда его давно звали.

Глава 3. Периметр дышит

Они увидели периметр за три километра до него — не глазами, а кожей. Воздух изменился: стал гуще, плотнее, будто кто-то невидимо поднял потолок неба на пару сотен метров и спрессовал всё, что под ним. Лана первой сняла перчатки и коснулась забора — просто кончиками пальцев, инстинктивно, как ребёнок трогает лёд, чтобы понять, настоящий ли он. Металл был тёплым. В сентябре, в четыре утра, при минус двух — тёплым.

— Ловушка? — спросил Тэмура, не повышая голоса. Он привык к тишине, которая обнимает сильнее, чем любой звук. В Фукусиме тишина была такой — густой, почти осязаемой, как будто воздух стал ватой и набился в уши.

Серов не ответил. Он смотрел вперед, туда, где бетонные блоки сходились в коридор, покрытый ржавчиной и мхом. Знаки радиации — треугольники с веером — торчали на столбах, выцветшие, ободранные, похожие на мёртвые глаза. Вышки стояли с оборванными антеннами, как деревья после пожара — голые, лишённые смысла. Колючая проволока провисла, местами заросла плющом, и в этой растительности, обжившей смерть, было что-то пугающе естественное, будто природа решила, что периметр — это просто ещё одна форма рельефа.

Дрозд достал геигер, щёлкнул тумблером. Тишина. Стрелка не дрогнула. Фон — девять микрорентген. Норма. Абсолютная, издевательская норма. Будто Зона решила надеть белую рубашку и улыбаться.

— Чисто, — сказал Дрозд, но голос его прозвучал так, будто он сообщал диагноз, который не сходится с симптомами.

Ким проверила свой прибор — тот же результат. Посмотрела на Дрозда, и в её взгляде промелькнуло что-то, чего она сама не могла бы назвать: не страх, не недоверие, а ощущение, что приборы врут не потому, что сломаны, а потому что кто-то держит их за горло.

Рысь шла впереди — не по дороге, а чуть в стороне, вдоль забора, ступая мягко, как животное, которое знает, что земля может запомнить шаг. Она остановилась внезапно, подняла руку — жест, который не нуждался в словах: «Тихо. Слушайте».

Все замерли.

Тишина. Абсолютная, стерильная. Ни ветра, ни гудения проводов, ни далёкого шума трассы. И тогда Рысь повернула голову налево — туда, где за забором темнел лес, — и медленно повернула направо — туда, где периметр уходил к КПП.

— Слышите? — прошептала она.

Лана прислушалась. Слева — птицы. Дрозд, дрозд-белобровик, давно не певший в этих краях, выводил короткую трель — чистую, живую, настоящую. Слева был мир. Справа — ничего. Ни единого звука. Ни сверчков, ни шороха листвы, ни далёкого гудения ЛЭП. Будто кто-то провёл линию и сказал: «Здесь жизнь кончается».

— Птицы поют только с одной стороны, — сказала Рысь. Не как наблюдение. Как диагноз.

— Может, просто ветер, — начала Ким, но Рысь покачала головой.

— Ветер дует с обеих сторон. А поют — с одной. Они знают, куда нельзя.

Тэмура потрогал забор, потом стену КПП — бетонную, серую, с потёками ржавчины, похожими на старые слёзы. И отёрнул руку.

— Тёплая, — сказал он. Просто одно слово. Но произнёс его так, будто бетон обжёг ему ладонь не жаром, а смыслом.

Серов посмотрел на стену. Потом на Тэмуру. Потом снова на стену.

— Бетон не греется, — сказал Дрозд, подходя и прикладывая ладонь. Помолчал. Добавил тише: — Этот греется.

— Как Фукусима? — спросила Лана.

— Нет, — ответил Тэмура. — Там всё было горячее — вода, земля, воздух. Здесь — только то, что построено людьми. Будто Зона греет то, что сама проглотила.

Серов приказал двигаться. Никаких обсуждений, никаких голосований. Он шёл первым, и его силуэт на фоне серого неба казался вырезанным из бумаги — слишком чёткий, слишком ровный для живого человека.

КПП-3 встретил их открытыми воротами. Ворота не были сломаны — они были открыты. Аккуратно, на обе створки, будто кто-то ждал гостей. Внутри — будка дежурного, стол, стул, кружка с пятном чая на дне. И журнал.

Журнал лежал открытым на последней странице. Запись — рукой, не печатной: «Смена сдана. Фон в норме. Нарушений нет. Ст. сержант Полевой». Дата — вчера.

Лана подняла журнал. Руки не дрожали — она не позволяла им дрожать. Но когда она показала дату Серову, что-то в воздухе между ними сдвинулось. Год назад не было «вчера». Год назад Полевой эвакуировался последним, сел в автобус, уехал. Журнал должен был заканчиваться той датой — датой катастрофы. Но последняя запись — свежая, чернила не выцвели, бумага не пожелтела.

— Это подделка, — сказала Ким, но её голос прозвучал так, будто она сама в это не верит. Она провела пальцем по строчке — чернила были сухие, но гладкие, не впитавшиеся в бумагу полностью, будто написаны не сегодня, но и не год назад. Когда-то между. Вчера, которого не было.

Дрозд взял журнал, перелистнул назад. Записи шли подряд — день за днём, двенадцать месяцев. Полевой дежурил каждый день. Полевой, которого увезли на автобусе. Полевой, которого больше нет здесь. Полевой, который каждый день писал: «Фон в норме. Нарушений нет».

— Он что, год тут сидел? — прошептал Тэмюра.

— Нет, — ответила Рысь. — Его здесь нет. Но его дежурство не кончилось. Оно... продолжается. Без него.

Тэмюра снова тронул стену — уже не ладонью, а тыльной стороной руки, будто проверял, не показалось ли. Стена была теплее. Прямо на его глазах — на градус, может, на два. Будто сердце билось внутри бетона, и с каждым ударом оно становилось быстрее.

Лана включила рацию. Эфир — чистый. Белый шум, как снег на пустом экране. Она покрутила настройку — ничего. Мёртвая тишина на всех частотах. Ни базовой станции, ни гражданского диапазона, ни военных каналов. Словно они шагнули в пузырь, отрезанный от всего мира, и воздух снаружи перестал существовать.

— Чисто, — сказала она, и в этом слове было больше горечи, чем в любой ругани.

Она уже хотела выключить рацию, когда щёлкнуло.

Не треск помех — щелчок. Короткий, точный, как удар сердца. А потом — голос.

«Вектор-семь, вас понял. Ждём».

Голос Воронова. Спокойный, ровный, профессиональный. Голос человека, который не знает, что он мёртв. Или — который знает, но это не имеет значения.

Лана медленно сняла руку с тумблера. Посмотрела на Серова. Серов смотрел в стену. Его лицо ничего не выражало — ни страха, ни узнавания, ни отрицания. Пустое. Вымытое. Как экран, на котором только что выключили изображение, но свечение ещё держится — едва заметное, как отпечаток на сетчатке.

Молчание длилось четыре секунды. Четыре секунды, в которых каждый успел прожить свою версию происходящего: Лана — техническую, Дрозд — научную, Ким — медицинскую, Тэмюра — интуитивную, Рысь — ту, у которой нет названия. И Серов — он не думал. Он слышал. И слышать голос Воронова было для него как дышать воздухом, которого нет: лёгкие работают, но тело знает, что должно задохнуться.

Дрозд перекрестился. Быстро, неуклюже, левой рукой — правая сжимала геигер. Он не крестился с детства, с похорон матери, и теперь это движение вышло из него, как крик, который ты давишь в горле, но он вырывается сам — не потому что ты хочешь, а потому что тело знает: когда слова не работают, остаются только жесты.

Ким заметила это и не сказала ничего. Она молча достала тонометр, надела манжету на руку Дрозда. Давление — сто шестьдесят на сто. Она переглянулась с Ланой. Обе подумали об одном: их тела реагировали так, будто рядом было что-то живое. Не опасное, не враждебное — просто живое. И это было страшнее, чем если бы оно было мёртвым.

Рысь подошла к воротам КПП и посмотрела на дорогу, уходящую в Зону. Дорога была чистой. Не заросшей, не разрушенной — чистой, будто её подмели утром. И в этом была осо-

бая, тошнотворная wrongness — ощущение, что мир за периметром не забыт, а обслуживается. Кем-то, кто всё ещё на посту. Кем-то, кто не подписывал контракт, не получал зарплаты, не уходил в отпуск. Кем-то, для кого дежурство — это не работа, а форма существования.

— Периметр дышит, — сказала Рысь, и её голос прозвучал не как метафора, а как констатация. — Мы внутри. И нас уже посчитали.

Серов обернулся. Впервые за всю операцию — обернулся. Посмотрел на каждого. Лану с рацией. Дрозда с геигером. Тэмура с автоматом. Ким с тонометром. Рысь — с тем, что нельзя положить в карман: знанием, которое приходит не из книг, а из земли, на которой ты родился.

— Идём, — сказал он.

И периметр выдохнул.

Глава 4. Карта, которая лжёт

Три километра по прямой. Серов считал шаги — не из привычки, а из необходимости. Когда всё остальное начинает лгать, остаются только ноги. Один шаг — семьдесят восемь сантиметров, ровно, выверено ещё в академии, доведено до автоматизма. Тысяча шагов — семьсот восемьдесят метров. Четыре тысячи — три километра. На четырёхтысячном шаге должна была быть развилка.

Развилки не было.

Дорога шла прямо — ровная, чистая, будто кто-то провёл линейкой по земле и сказал: «Только так». Слева — лес, густой, тёмный, но не пугающий, а равнодушный, как стена в коридоре больницы. Справа — лес. Такой же. Будто они шли по коридору, стены которого сделаны из деревьев, а потолок — из серого, низкого неба, которое давило так, что хотелось пригнуть голову.

Серов остановился. Посмотрел на GPS — маленький экранчик на запястье, военный, защищённый, надёжный. Точка, обозначающая группу, светилась на два километра дальше, чем они могли пройти. Он сверил с шагомером — четыре тысячи двести шагов. Три километра триста метров. GPS упрямо показывал пять и три.

— Лана, — позвал он. — Координаты.

Лана достала свой приёмник — более точный, с коррекцией по двум спутникам. Посмотрела. Потом посмотрела ещё раз. Потом перевернула приёмник, будто это могло помочь.

— Пять километров триста метров от периметра, — сказала она. Голос — ровный. Слишком ровный.

— Мы прошли три.

— Я знаю.

Тэмура молча достал свой счетчик — механический, японский, с трещиной на циферблате, привезённый из Фукусимы, как талисман, как воспоминание, как предостережение. Он тоже показывал три километра с небольшим. Три, а не пять.

— Значит, спутники врут, — сказал Тэмура. Не с вопросительной интонацией — с констатирующей. Будто это было обычное дело — идти по земле, которая не совпадает с небом.

— Или земля врёт, — возразила Ким. Она уже достала тонометр и мерила давление всем подряд — привычка медика, которая в нормальных условиях выглядит как забота, а здесь — как попытка нащупать хоть одну точку опоры. Результат: у всех пульс выше нормы на двадцать ударов. У Серова — девяносто шесть. У Ланы — сто два. У Дрозда — сто десять. У Тэмура — семьдесят восемь, и это было подозрительно — слишком спокойно для человека, который стоит посади зоны, где спутники говорят неправду.

— Никто не напрягался, — сказала Ким, глядя на цифры так, будто они были показаниями обвинения. — Мы шли ровным шагом по прямой. Пульс должен быть семьдесят — семьдесят пять. У всех — двадцать сверху. Тела реагируют, а умы ещё не поняли на что.

— На что? — спросил Дрозд.

— Если бы я знала, — ответила Ким, — пульс был бы нормальным.

Дрозд молча расстелил на капоте брошенного грузовика — того самого, что стоял у обочины с открытым капотом, будто водитель решил починить двигатель и ушёл за инструментом тридцать лет назад — бумажную карту. Не ту, цифровую, не ту, спутниковую. Настоящую. Довоенную. С бетонных полок архивного отдела, вытащенную из папки с грифом «Глубина — топосъёмка 1987». Бумага пожелтела, линии выцвели, но рельеф — рельеф остался. И по этому рельефу выходило, что впереди — не лес.

— Озеро, — сказал Дрозд, проводя пальцем по контуру. — Здесь было озеро. Мелкое, проточное, с илистым дном. На топосъёмке — как блюдце. Сейчас — лес. Но лес растёт на иле, а ил запоминает воду.

Рысь подошла, посмотрела на карту. Кивнула — медленно, будто подтверждая не Дрозду, а себе.

— Озеро Сухое, — сказала она. — Местные звали его Зеркалом. Вода была такая чистая, что видно дно на три метра. Рыбы не было — ни одной. Будто она знала, что сюда нельзя. За неделю до катастрофы приехали военные, поставили насосы и спустили воду. За три дня. Местные говорили: зачем? Военные отвечали: «Профилактика». Никто не поверил. Но никто и не спросил дважды.

— Зачем спускать озеро перед аварией? — спросила Лана.

— Затем, — ответил Дрозд, и его голос стал тихим, как у человека, который произносит вслух то, что думал молча много лет, — что «Глубина» бурила не под озером. Она бурила под дном. Озеро было крышкой. Когда его спустили, давление в нижних слоях изменилось. И что-то открылось.

Серов сверил бумажную карту с GPS. Они не совпадали ни в чём — ни рельеф, ни расстояния, ни направления. Два мира, наложенные друг на друга, как два кадра на одной плёнке: один — тот, в котором они шли, другой — тот, в котором озеро ещё не спущено, леса ещё нет, а впереди — открытая, гладкая поверхность дна, по которой можно идти, как по столу.

— Мы идём по дну, — сказала Рысь. Не с удивлением — с узнаванием, как человек, который давно подозревал, но не решался сказать. — Лес — это маска. Озеро здесь. Просто оно спрятано.

Тэмура посмотрел под ноги. Земля была твёрдой, сухой, покрытой тонким слоем хвои. Но когда он слегка приподнял ногу и посмотрел на отпечаток — след был влажным. Илистым. Чёрная, липкая грязь, которой не должно быть под хвоей, под корнями, под лесом, которому тридцать лет. Будто лес лежал на чём-то жидком, и это жидкое проступало — капля за каплей, след за следом.

— Нам нужно решать, — сказал Серов. — Возвращаться или идти по дну.

— Возвращаться некуда, — ответила Рысь. — Периметр уже закрылся за нами.

Никто не проверял. Никто не оборачивался. Все знали — не потому что видели, а потому что чувствовали: спины стали тяжелее, будто кто-то положил ладонь между лопаток и мягко, почти ласково, толкал вперёд.

Лана в этот момент держала рацию в руке, не прижимая к уху — просто держала, как держат крестик, когда боятся. Рация щёлкнула. Тихо, почти нежно — не как помеха, а как голос, который откашливается перед тем, как сказать.

Она поднесла к уху.

Голос Воронова. Но другой. Не тот, спокойный, профессиональный, из первой передачи. Этот — с хрипотцой, с паузами, с дыханием, которое сбивается. Голос человека, который давно не спал. Или который устал быть мёртвым.

«Верните вниз. Мы не одни».

Лана не шевелилась. Четыре секунды — она считала, потому что тело не давало считать дольше. Потом медленно опустила рацию и посмотрела на группу.

— Новые слова, — сказала она. — «Верните вниз. Мы не одни». Этого не было в первой записи.

— Не было, — подтвердил Серов. Он помнил первую запись наизусть — каждое слово, каждую паузу, каждый вдох. «Ждём подмогу. Мы всё ещё держимся». И точка. Ничего больше. А теперь — больше.

— Развивается, — прошептала Ким. — Сигнал развивается. Это не петля. Это разговор.

— Мёртвые не разговаривают, — сказал Дрозд. Но сказал это так, будто не верил собственным словам. Как человек, который повторяет правило, чтобы оно оставалось правилом, хотя видит, что правило уже сломано.

— Нет, — ответила Рысь. — Мёртвые — нет. Но то, что говорит их голосами — да. И оно учится. Каждая передача — новое слово. Новое предложение. Оно складывает фразы, как ребёнок, который учится говорить. Только ребёнок учится годами. А это — за сорок три секунды.

Серов сложил карту, убрал во внутренний карман, застегнул молнию — жест, который в нормальном мире значил «решено». Здесь он значил «я делаю вид, что контролирую ситуацию, потому что если перестану, все рассыплется».

— Вниз, — сказал он. — Они говорят «вниз». Значит, есть куда спускаться. Значит, «Глубина» открыта.

— Или открывается, — добавил Дрозд. — Прямо сейчас. Для нас.

Лана снова поднесла рацию к уху. Тишина. Потом — дыхание. Не Воронова. Чужое. Глубокое, медленное, с влажным присвистом на выдохе. Дыхание чего-то, что не лёгкими дышит.

Она убрала рацию. Посмотрела на Серова.

— Там ещё кто-то, — сказала она. — Кроме Воронова.

И в этот момент GPS на запястье Серова мигнул и показал их настоящие координаты: не на дороге, не в лесу, не на дне озера. А на два километра под землёй.

Они были уже вниз. Просто ещё не знали об этом.

Дрозд посмотрел на свои ноги — на чёрный, влажный отпечаток, который он оставил на хвое. Потом на лес вокруг. Потом на небо, которое было слишком низким, слишком ровным, слишком серым, чтобы быть небом.

— Это не небо, — сказал он. — Это потолок.

И все увидели: деревья не имели крон. Их верхушки терялись в серой мути — не в тумане, не в облаках, а в чём-то плоском, матовом, похожем на бетон, покрытый слоем пыли. Лес рос не вверх. Он рос вниз — с потолка, как сталактиты, как волосы, как нервы, тянущиеся к земле, к ним, к тем, кто шёл по дну озера, которого не было, под небом, которого не было, навстречу голосу, которому не следовало существовать.

Рысь остановилась. Сняла капюшон. Послушала землю — не ухом, а подошвами, как слушают живое существо, которое притворилось мёртвым.

— Оно знает, что мы здесь, — сказала она. — Оно всегда знало. Мы для него — не гости. Мы — ответ. Оно спрашивает. Мы пришли отвечать.

Впереди, сквозь стволы деревьев, которые росли вниз, мелькнул свет. Не солнечный — искусственный, жёлтый, дрожащий. Свет лампы, которая горит в помещении, где давно не было людей, но кто-то забыл выключить.

Серов шагнул вперёд. Земля чавкнула — мягко, влажно, будто дно озера вздохнуло под его весом и приоткрыло рот.

— Идём, — сказал он.

И дно ответило.

Глава 5. Зеркальный лагерь

Деревья кончились внезапно — не поредели, не расступились, а просто исчезли, будто кто-то провёл бритвой по лесу и срезал его под корень. Поляна открылась целиком, сразу, как кадр из сна, который ты видишь уже после пробуждения — яркий, чёткий, с деталями, которые реальность не позволяет.

Лагерь.

Четыре палатки. Костровище. Стопка рюкзаков, накрытая брезентом. Сушка для одежды, верёвка между двумя колышками, на ней — носки, перчатки, термобельё. Всё расставлено аккуратно, по уставу, с тем военным порядком, который не зависит от обстоятельств, а обстоятельства подчиняет себе. Костровище — в центре, на безопасном расстоянии от палаток, с каменным обводом и выкопанной канавкой для отвода воды. Место для командира — с краю, ближе к выходу.

Группа «Фаза» остановилась на опушке. Шесть пар глаз — шесть версий того, что они видят. Но все версии сходились в одном: лагерь был не их. И одновременно — был.

— Это не наш лагерь, — сказала Лана. Голос — тихий, почти беззвучный, как у человека, который говорит себе, а не другим.

— Нет, — подтвердил Тэмура. — Не наш. Но вот эта палатка стоит так, как я бы поставил. И вот этот узел на оттяжке — мой. Я завязываю так с Фукусимы. Узел-восьмёрка с двойным шлагом. Его почти никто не использует.

— Я использую, — сказал Серов. И замолчал.

Они вошли в лагерь. Палатки были старые — не новые, не из магазина, а выслужившие срок, с заплатками, с потёртым водоотталкивающим слоем. Знакомые. Все палатки были знакомые — каждая из них была их палаткой, той, что лежала в их рюкзаках, свёрнутая, с теми же метками, с теми же дырками от искр, с теми же номерами, написанными маркером на тентах.

Дрозд присел на корточки и поднял брезент. Под ним — планшет. Армейский, ударопрочный, в резиновом корпусе, с застёжкой-молнией и координатной сеткой на обложке. Он раскрыл его.

Экран загорелся. Заряженный. Пароль — четыре цифры. Дрозд посмотрел на Серова.

— Попробуй ноль-семь-один-два, — сказал Серов. День рождения дочери. Он не говорил этого вслух — просто назвал цифры, и они совпали.

Планшет открылся. На рабочем столе — папка с названием «ФАЗА-ОПЕРАЦИЯ». Внутри — файлы: вызовы, расписания, рапорты, графики движения, схемы связи. Всё — их. Их позывные, их частоты, их маршруты. Позывной Ланы — «Эхо-2». Позывной Дрозда — «Крот». Позывной Тэмуры — «Сигма». Все — те, что были присвоены на брифинге, в штабном бункере, два дня назад. В папке — история сообщений, десятки записей, будто группа работала уже не дни, а недели.

Серов листал. Его лицо ничего не выражало. Пальцы двигались по экрану — ровно, без дрожи, с той механической точностью, которая у нормальных людей означает шок. Он открыл последний файл — рапорт. Стандартная форма, заголовок, дата, подпись.

Дата — завтрашняя.

Подпись — его. Полковник Серов. Тем же почерком, тем же наклоном, с тем же росчерком, который он ставил на приказах двадцать лет. Он узнал свою подпись так, как узнают своё лицо в зеркале — не задумываясь, не проверяя, просто зная, что это — его.

— Это подделка, — сказала Ким. Она стояла за его плечом и читала через него. — Хорошая подделка. Кто-то изучил ваш почерк.

— Нет, — ответил Серов. Голос — пустой, как комната, из которой вынесли мебель. — Это не подделка. Я помню, как писал этот рапорт. Я помню, как сидел у костра и заполнял форму. Я помню, как Лана принесла мне чай в кружке с отколотым краем.

Лана посмотрела на свои руки. На столе рядом с планшетом стояла кружка. С отколотым краем.

— Я не делала этого, — прошептала она. — Я ещё не сделала.

Тэмура в это время был у костровища. Он опустил ладонь над золой — не на золу, а над, на расстоянии пяти сантиметров, как проверяют духовку. Жар — ровный, тёплый, не угасающий. Зола — серая, с оранжевыми угольками, которые тлели не снаружи, а изнутри, как будто огонь не потух, а просто притворился мёртвым.

— Двадцать минут, — сказал Тэмура. — Может, тридцать. Огонь горел полчаса назад. Кто-то сидел здесь, грелся, пил чай, писал рапорты. И ушёл.

— Куда? — спросил Серов.

— Сюда, — ответила Рысь. Она стояла у края поляны и смотрела на тропу, которая уходила в лес — в тот лес, откуда они только что вышли. Тропа была протоптана — свежая, с чёткими следами, не заросшими, не присыпанными хвоей. Шесть пар следов. Шесть — как их.

Рысь присела, провела пальцем по отпечатку. Глубокий, чёткий, с рисунком подошвы. Она достала свой ботинок и приложила. Совпало. Не похожий — тот самый.

— Мы идём по своим следам, — сказала Лана. Голос — ровный, но в нём дрожало что-то, как дрожит струна, которую тронули и не заглушили. — По следам, которых ещё не оставили.

Никто не ответил. Не потому что нечего было сказать, а потому что слова здесь были как карты — показывали одно, а реальность была другой.

Дрозд поднял с земли гильзу. Латунная, *cinga deformed* — стреляная. Он повертел её, посмотрел на донышко. Клеймо — завод, партия, год. Его глаза сузились.

— Вектор-семь, — сказал он. — Это калибр из боезапаса группы Вектор-7. Я подписывал накладную, помню партию. Вот эта гильза — оттуда.

— Откуда здесь гильза группы, которая погибла год назад? — спросила Ким. Она уже не пыталась объяснить, она спрашивала, потому что вопросы — единственное, что у неё осталось.

— Она не год назад, — сказал Дрозд. — Она свежая. Пахнет порохом. Не окислилась. Стреляная — недавно. Может, сегодня. Может, вчера.

— Двадцать минут назад? — спросил Тэмура, и в его голосе впервые прозвучало то, чего не было раньше: не тревога, а узнавание. Он видел это. В Фукусиме. Место, которое повторяет себя. Место, где время не течёт, а наслаивается, как палимпсест, и прошлый слой проступает сквозь настоящий, как кровь сквозь бинт.

— Значит, они были здесь, — сказал Серов. — Вектор-семь. Или кто-то с их оружием. Двадцать минут назад.

— Или мы, — сказала Лана. — Мы, которые будут здесь завтра. Мы, которые уже прошли этот путь и оставили следы, написали рапорты, поставили палатки, разожгли огонь. Мы — из будущего, которое уже наступило. И оно находится здесь раньше нас.

Серов закрыл планшет. Убрал в карман. Посмотрел на лагерь — на палатки, на костровище, на кружку с отколотым краем, на следы, на гильзу. Всё это было его. Их. Но — не сейчас. Потом. Или раньше. Или всегда. Время здесь не шло по прямой — оно ходило кругами, как зверь в клетке, и каждый круг оставлял отпечаток.

— Связь с базой, — сказал он. — Сейчас. Доложить обстановку.

Лана включила рацию. Набрала частоту базовой станции. Тишина. Ещё раз. Тишина. Ещё — щелчок, и пропало всё. Полное молчание, будто кто-то выдернул провод из мира. Она проверила питание — полный заряд, антенна цела, частота верная. Ничего. Тридцать секунд. Тридцать пять. Сорок.

На сорок третьей секунде — потому что здесь всё было сорок три секунды, всегда сорок три, как пульс, как прилив, как дыхание чего-то огромного — связь вернулась.

Но не так, как должна была.

— База, приём, — сказала Лана. — Группа «Фаза», докладываю: прибыли на точку, обнаружен лагерь, следы, свежая гильза. Ждём указаний.

Пауза. Три секунды. Потом — голос оператора. Знакомый, молодой, с лёгким хрипотцем, как у всех, кто работает ночами в закрытом помещении.

— Фаза, вас понял. А вы почему не на связи? Вы же только что отзвонились.

Лана замерла.

— Я не отзванивалась. Группа на связи впервые за сорок три секунды. Кто отзвонился?

Пауза. Одна секунда. Потом оператор сказал — и от этих слов у всех, кто стоял на поляне, застыла кровь:

— Вы. Голос Серова. Полковник Серов отзвонил десять секунд назад, доложил обстановку, сказал, что всё в порядке. Я записал в журнал.

Серов стоял рядом. Серов молчал. Серов не прикасался к рации. Серов не говорил ни слова.

— Что именно он сказал? — спросила Лана. Голос — тихий, контролируемый, как рука, которая держит нож за лезвие и не режется только потому, что не дрожит.

Оператор зачитал дословно: «Группа „Фаза“ на точке. Обстановка штатная. Лагерь развёрнут. Следов противника не обнаружено. Продолжаем движение».

— Это не я, — сказал Серов. Но он не сказал это в рацию. Он сказал это Лане, шёпотом, так, чтобы оператор не слышал. Потому что если оператор услышит — придётся объяснять, что в эфире кто-то говорит его голосом, докладывает его словами, делает его работу. И это значит, что есть другой Серов. Тот, который уже здесь. Тот, который уже отзвонился. Тот, который развернул лагерь, разжёг костёр, написал рапорт, поставил палатки и ушёл — по их следам, навстречу им самим.

— Отключись, — сказал Серов.

— Что?

— Отключи рацию. Немедленно.

Лана щёлкнула тумблером. Эфир умер. Тишина, которая настала, была другой — не пустой, а полной, как вода, в которой что-то скрывается. Она давила на уши, на виски, на переносицу, как голова под водой на глубине трёх метров.

Ким первой увидела, что было не так с лагерем. Она молчала тридцать секунд, а потом произнесла — тихо, медленно, будто выстраивая слова с осторожностью хирурга, который нашёл опухоль не там, где искал:

— Палатки стоят на дне озера. Земля — илистая, влажная. Костровище — на камнях, которые сложены так, будто их долго выбирали. Рюкзаки — полные. Сушка для одежды — с мокрыми вещами. Этот лагерь стоит здесь не первый час. Может, не первый день. Но следы — свежие, костёр — тёплый, гильза — стреляная. Как будто время здесь сложено вдвое, и одно накрывает другое. Прошлое и будущее — одновременно.

— Зеркало, — сказала Рысь. — Озеро Сухое называлось Зеркалом. Зеркало отражает. Но не только вверх — вниз тоже. Этот лагерь — отражение. Мы — отражение. Тот, кто был здесь до нас — отражение. А что тогда — оригинал?

— Неважно, — сказал Серов. И впервые за всю операцию в его голосе прозвучало то, чего никто не ожидал: не сталь, не уверенность, не командирский тон. Страх. Короткий, как вспышка молнии, — но достаточный, чтобы все увидели: полковник Серов, человек, который подписал приказ, закрыл периметр и похоронил товарища, боится. Не того, что ждёт впереди. Того, что уже здесь. Того, что ходит его голосом, пишет его рукой, знает его маршрут и стоит на его месте, разжёг его костёр и ушёл.

Тэмура встал. Поднял автомат. Оглядел поляну — не глазами бойца, а глазами человека, который понял, что они не одни. Что они никогда не были одни. Что «мы не одни» из последней передачи Воронова — это не о мёртвых. Это о них. О живых. О тех, кто ходит по кругу, не зная, что ходит по кругу, и каждый круг — короче предыдущего.

— Если кто-то был здесь двадцать минут назад, — сказал он, — и ушёл по нашим следам, навстречу нам, то мы должны были его встретить. В лесу. По дороге сюда.

— Должны были, — согласилась Лана.

— Но не встретили, — закончил Тэмура.

Пауза. Птицы — те, что пели только с одной стороны периметра, — замолчали. Даже там, где им было можно.

— Значит, они не по тропе ушли, — сказала Рысь. — Значит, они ушли вниз. Туда, куда мы идём.

Дрозд посмотрел под ноги. Илистая земля, влажная, чёрная, живая. Он топнул — мягко, не сильно. Земля ответила: не звуком, а движением. Лёгким, едва заметным, как будто что-то под слоем ила повернулось во сне.

— Оно под нами, — сказал Дрозд. — Не «Глубина». Не буровая. Не бункер. Оно. То, что «Глубина» вскрыла. И оно строит нам лагерь. Палатки, костёр, рапорты — оно показывает нам нашу жизнь. Будущую. Прошедшую. Ему всё равно. Для него время — это форма. Как для нас — глина.

Серов посмотрел на лагерь. Потом на лес, который не рос вверх, а свисал вниз. Потом на землю, которая дышала под ногами. Потом на свои руки — те самые, которые подписали приказ, которые написали рапорт, датированный завтра, которые подняли кружку чая, которую ему ещё не подавали.

— Мы не уйдём, — сказал он. И это были не слова командира. Это были слова человека, который понял, что выбора нет. Не потому что приказ, не потому что долг. Потому что другой он — тот, что отзвонился на базу, развернул лагерь, написал рапорт — уже сделал выбор за него. И выбор был: идти вниз.

Лана молча включила рацию. Эфир был чист. Она ждала. Тэмура проверял патроны — медленно, по одному, как считал молитвы. Ким раскрыла аптечку и разложила инструменты на брезенте, будто готовилась к операции, которой ещё не было, но которая уже началась. Дрозд стоял у края поляны, смотрел в лес и молчал. Рысь присела на корточки, приложила ладонь к земле и закрыла глаза.

А Серов открыл планшет, нашёл свой рапорт — тот, датированный завтрашним днём — и прочитал последнюю строку, которую он ещё не написал:

«Продолжаем движение вниз. Объект „Глубина“ открыт. Ждём контакта».

Он закрыл планшет. Посмотрел на группу.

— Ждём контакта, — повторил он.

И из-под земли — из-под илистого дна, из-под слоёв времени, которые ложились друг на друга, как страницы книги, написанной задом наперёд, — донёсся звук. Не голос. Не сигнал. Звук. Низкий, протяжный, вибрирующий, как гудение огромной струны, натянутой между миром и тем, что под ним. Он прошёл через подошвы, через кости, через рёбра — и каждый почувствовал его не ушами, а изнутри, как будто что-то внутри каждого из них отозвалось на зов.

Будто что-то, что ждало, наконец услышало.

И сказало: «Наконец-то».

Глава 6. Дно

Лес не кончился. Он отпустил их.

Разница была ощутима физически — как давление, которое снимают с груди после долгих часов. Деревья, которые свисали с потолка, как нервы из вскрытого позвоночника, вдруг выстроились в ровный ряд — не поредели, не расступились, а встали по обе стороны, как почётный караул. Как провожатые. Будто лес довёл их до границы и сказал: «Дальше — не моя территория».

И вышли на дно.

Озеро Сухое — Зеркало — лежало перед ними. Не высохшее — спущенное. Разница ощущалась: высохшее озеро растрескивается, покрывается коркой, умирает естественной смертью. Спущенное — выглядит так, будто у него отняли кровь. Дно было гладким, чёрным, блестящим — не от воды, а от чего-то другого, от какой-то влажности, которая не высыхала, потому что не была водой. Мох обрастал края — ярко-зелёный, почти неоновый, слишком живой для местности, где радиационный фон в норме, а птицы не поют. Мох цеплялся за берег, как ресницы за край века — и держался, и не хотел отпускать.

Дно уходило вдаль — плоское, ровное, как стол, как ладонь, как экран, на котором ещё ничего не показано. И посередине — конструкция.

Буровая вышка. Вернее — половина. Верхняя часть срезана или обрушена, нижняя — накрена, как пьяный, который пытается стоять и не может, но не падает, потому что что-то держит его снизу. Металл — ржавый, с потёками окиси, похожими на старые раны, — уходил в дно, в чёрную зеркальную поверхность, которая не отражала небо, потому что неба не было. Потолок — серый, плоский, матовый — нависал над всем, как крышка гроба, закрывающая целый мир.

И на вышке горели огни.

Аварийные — жёлтые, мигающие, с периодичностью раз в две секунды. И рабочие — белые, ровные, мертвенно-яркие, как лампы в операционной. Они горели на конструкции, которая официально затоплена, загерметизирована, бетонирована и закрыта. На объекте, который год назад залили водой, забетонировали люки, заварили швы и поставили печати. Здесь, на дне мёртвого озера, под потолком, который не был небом, — работало электричество.

Группа стояла на краю. Шесть силуэтов на фоне чёрного зеркала — как фигуры на японской гравюре, где каждый штрих — решение, и каждая линия — судьба.

Дрозд заговорил первым. Голос — тихий, ровный, с той особенной интонацией, которая появляется у людей, произносящих вслух то, что знали молча. Долго. Годами.

— Это не буровая, — сказал он.

Никто не ответил. Все ждали. Потому что Дрозд — единственный, кто был на «Глубине» до затопления. Единственный, кто спускался на минус сто и возвращался. Единственный, кто подписывал акты приёмки и видел графу «Назначение объекта», в которой было написано: «Глубинное геологическое исследование». Четыре слова. Ни одно из которых не было правдой.

— Это колодец, — продолжил Дрозд. — Они бурили не нефть и не газ. Они бурили не воду и не термальную энергию. Они бурили вниз. Просто — вниз. Без цели, без горизонта, без конечной глубины в проекте. Я видел документацию: восемьсот метров — и дальше — прочерк. Не «остановлено на». Не «достигнуто». Прочерк. Пусто. Будто глубины не было. Будто они бурили в то, что не имело дна.

— Зачем? — спросила Лана. Не из любопытства — из необходимости. Вопрос был как якорь: пока ты спрашиваешь «зачем», ты ещё в мире, где вещи имеют смысл.

— Они не знали «зачем», — ответил Дрозд. — Они знали «что». На глубине шестисот метров показания датчиков начали меняться. Не давление, не температура — время. Датчики времени. Кварцевые, атомные, механические — все начали идти по-разному. Не отставать, не спешить — идти в разные стороны. Будто время под землёй не текло, а ветвилось. Как корни. Как нервы. Как что-то, что растёт не вверх и не вниз, а внутрь.

— И они продолжили бурить, — сказал Серов. Не вопрос.

— Они продолжили, — подтвердил Дрозд. — Потому что на семисотом метре что-то ответило. Не звук. Не сигнал. Не импульс. Ответило. Датчики записали ответ — не в цифрах, не в частотах, а в форме, которой не было в их памяти. Будто кто-то взял прибор и написал им на ленте: «Я здесь».

Ким тихо произнесла:

— Посмертная активность нейронов. Последние импульсы. Группы клеток, которые продолжают работать после смерти организма. Это известно. Это объяснимо.

— На семисот метрах? — спросил Дрозд. — В гранитной плите? В породе, которой два миллиарда лет? Какие нейроны, Ким? Чьи клетки? Какого организма?

Ким молчала. Она молчала, потому что ответов не было. Были только вопросы, и каждый вопрос был глубже предыдущего, как буровая — метр за метром, вниз, в то, что не имело дна.

Тэмура стоял чуть в стороне и смотрел на вышку. Его глаза — тёмные, узкие, с тем выражением, которое бывает у людей, видевших слишком много, — были неподвижны. Он не смотрел на огни. Он смотрел на тени. Тени вышки ложились на чёрное дно — длинные, ломаные, чёткие, как вырезанные из чёрной бумаги. Но одна тень была лишней. Пять — от конструкции: от вышки, от мачты, от лестницы, от навеса, от кабеля. Шесть — на земле. Тэмура посчитал дважды. Пять предметов. Шесть теней.

Одна тень не имела источника. Она лежала отдельно, слева от вышки, и была длиннее остальных. И двигалась — не от ветра, не от света, а сама по себе, медленно, как будто что-то ходило под дном, и дно запоминало его шаги.

— Там кто-то есть, — сказал Тэмура. Не показывая — просто называя. — У вышки. Точнее — под вышкой. Тень двигается.

Все посмотрели. Тень замерла. Будто услышала, что её заметили, и притворилась неподвижной. Но она была — лишняя, длинная, не на месте, и от неё веяло чем-то, что не было ни теплом, ни холодом, а тем, что бывает между: отсутствием. Отсутствием, которое присутствует.

— Серов, — сказала Ким. И в её голосе прозвучало то, чего не было ни разу за всю операцию: возражение. — Мы не пойдём к вышке.

Серов повернулся. Медленно. Ким стояла, вжав подбородок в воротник, с аптечной сумкой на плече, и её глаза — обычно спокойные, аналитические, привыкшие к цифрам и диагнозам — были широкими. Не от страха. От ясности. Она видела. Не как Рысь — не из земли. Не как Лана — не из эфира. Она видела как медик: тело, которое знает, что оно больно, раньше, чем ум успевает назвать болезнь.

— Пульс у всех — сто двадцать, — сказала Ким. — Температура кожи — снижается. У Дрозда — тридцать пять и восемь. У Тэмуры — тридцать пять и пять. У меня — тридцать шесть и два, и я единственная, кто хоть немного в норме. Мы теряем тепло. Не от холода — отсюда. — Она указала на вышку. — Оно вытягивает. Как анестезия, которая действует не на нервы, а на всё тело. Мы идём туда — и замедлимся. Сердце, дыхание, мышление. Мы станем медленнее, а оно — нет. Мы будем для него как во сне, а оно — как хирург, который не ждёт, пока пациент уснёт.

— Ким, — начал Серов.

— Нет, — перебила она. Впервые. За всю карьеру, за все операции, за все годы службы — она перебила командира. — Нет. Я отвечаю за жизнь группы. Моя обязанность — говорить, когда вижу опасность. Я вижу. Мы идём к чему-то, что уже влияет на нас. На физиологию. На кровь. На пульс. Мы не контролируем это. И чем ближе — тем сильнее. К вышке — нельзя.

Тишина. Пять секунд. Десять. Пятнадцать. Тэмура щёлкнул предохранителем — не снимая с оружия, а проверяя. Звук был тихий, но в тишине дна озера прозвучал как выстрел.

Серов посмотрел на Ким. Долго. С тем выражением, которое бывает у людей, принимающих решение, зная, что любой вариант — неправильный. Что нет выбора между «хорошо» и «плохо». Есть выбор между «плохо» и «хуже». И «хуже» — это остаться.

— Ким, — сказал он. Голос — тихий, но в нём не было просьбы. Была тяжесть. — Я слышу тебя. Я понимаю. Но мы не можем не пойти. Не потому что приказ. Не потому что долг. А потому что оно уже знает, что мы здесь. И если мы остановимся — оно придёт само. Я лучше пойду к нему, чем дождусь, когда оно придёт ко мне.

Ким смотрела на него. Десять секунд. Потом опустила глаза. Кивнула. Один раз. Не соглашаясь — принимая.

— Я иду, — сказала она. — Но если у кого-то пульс упадёт ниже шестидесяти — я останавливаю группу. Это не обсуждается.

— Не обсуждается, — подтвердил Серов.

Они двинулись по дну. Земля — чёрная, влажная, зеркальная — прогибалась под ногами, но не впитывала, не проваливалась. Она была упругой, как мышца, и каждый шаг отдавался лёгким, глухим звуком — не хлопком, не шлепком, а стуком. Как будто под слоем ила, под слоем глины, под слоями времени и породы — было что-то пустое. Что-то, что звучало пусто-той. Что-то, что ждало, чтобы по нему постучали.

Рысь шла босиком. Она сняла ботинки молча, без объяснений, и ступала на чёрное дно голыми ступнями. Её лицо — обычно непроницаемое, как маска — дрогнуло. Один раз. Она остановилась, присела, положила ладони на поверхность и замерла.

— Что? — спросил Серов.

— Оно тёплое, — ответила Рысь. — Тридцать семь градусов. Как тело.

Ким проверила своим термометром — бесконтактным, лазерным. Тридцать семь и два. Дно мёртвого озера имело температуру человеческого тела.

— Оно не нагревается, — прошептала Рысь. — Оно живёт.

Они прошли полпути, когда на дне появились трещины. Не естественные — ровные, геометрические, прямые, как линии на чертеже. Они расходились от центра — от вышки — радиально, как спицы колеса, и в каждой трещине тускло мерцал свет. Не электрический — другой. Биологический. Грибной. Сине-зелёный, холодный, пульсирующий, как кровоток в венах, которые светятся сквозь кожу.

— Биолюминесценция, — сказала Ким, но голос её дрогнул. — Грибы. Бактерии. Что-то... живое.

— На дне озера, которое спустили год назад? — спросил Дрозд. — Биолюминесцентные грибы, которые за год прошли путь от споры до пульсирующего светящегося узора, покрывающего квадратный километр дна?

Ким не ответила. Потому что ответа не было. Был только свет — холодный, ровный, живой, пульсирующий в ритме, который она, как медик, узнала с первым ударом: сорок три в минуту. Сорок три. Как секунды между сигналами. Как пульс чего-то огромного, что лежало под дном и светилось изнутри, как сердце, видимое сквозь грудную клетку.

Вышка приближалась. Чем ближе — тем больше деталей, и каждый DETAIL был хуже предыдущего. На металле — не ржавчина. Наросты. Органические, бугристые, похожие на остеофиты — костные разрастания, которые появляются при болезни. Металл обростал костью. Или кость обростала металлом. Граница между живым и неживым стиралась, как линия на карте, которую стёрли.

Лестница. Ведущая вниз, в люк, который должен быть заварен, забетонирован, загерметизирован. Люк был открыт. Не сломан, не вырван — открыт. Аккуратно, на обе створки, как ворота КПП-3. Будто кто-то ждал.

Из люка шёл воздух. Тёплый, влажный, с запахом, который не был ни запахом земли, ни запахом бетона, ни запахом машин. Он пах живым телом — не человеком, не животным, а чем-то, что имеет температуру, влажность, дыхание, но не имеет названия.

И тогда рация щёлкнула. Не Ланина — она была выключена. Рация Серова. Та, что висела на ремне, в чехле, с выключенным тумблером. Она щёлкнула сама. Включилась сама. И голос Воронова — живой, усталый, с тем оттенком нетерпения, который бывает у людей, которые долго ждали и наконец увидели свет в окне, — прозвучал из динамика, и его услышали все, потому что Серов не успел снять рацию с ремня.

«Фаза, мы видим вас. Спускайтесь. Мы держим люк».

Серов остановился. Тэмура остановился. Лана, Дрозд, Ким, Рысь — все. Шесть фигур на чёрном зеркальном дне, в сине-зелёном свете, под серым потолком, который не был небом, перед открытой дверью, которая не должна была открываться.

— «Мы», — повторила Лана. — Он сказал «мы».

— И «держим люк», — добавил Тэмура. — Не «открыт». «Держим». Кто-то физически держит его открытым. Кто-то, кто стоит там, внизу, и ждёт.

— Мёртвые не стоят на часах, — сказал Дрозд. Но голос его был пуст, как эфир на мёртвой частоте.

— Мёртвые — нет, — ответила Рысь. Она стояла у самого края люка и смотрела вниз. Её босые ступни на тёплом дне, её глаза — в темноту, которая не была темнотой. Там, внизу, мерцал свет — не сине-зелёный, не аварийный жёлтый. Белый. Ровный. Чистый. Свет, который бывает только в одном месте: в помещении, где кто-то живёт.

— Но что-то — стоит, — закончила она. — И оно ждёт. И оно держит люк. Не для нас. Для себя. Потому что если оно отпустит — люк закроется. И оно останется наверху. С нами.

Серов подошёл к люку. Посмотрел вниз. Лестница — металлическая, с наростами кости на перилах, уходила вниз на тридцать шесть ступеней. Внизу — коридор, освещённый, с белыми стенами. Чистыми. Слишком чистыми для объекта, который затоплен год назад.

Тридцать шесть ступеней. Тридцать шесть. Как лет. Как градусов. Как всё, что здесь, — не случайное, а выверенное, расчётливое, словно кто-то проектировал этот спуск не для людей, а для ритуала, в котором каждая ступень — шаг, каждый шаг — выбор, каждый выбор — необратим.

Серов поставил ногу на первую ступень. Металл зазвенел — тихо, чисто, как колокол. И в этом звоне было что-то, что не было звуком металла. Это был ответ. Дно ответило на его вес, на его тепло, на его пульс — и ответ был: «да».

— Спускаемся, — сказал Серов.

Ким проверила пульс. У всех — выше ста. У Серова — сто тридцать. Она молча спрятала тонометр. Не потому что забила тревогу. Потому что знала: если остановит их сейчас — они не услышат. Не потому что не хотят. Потому что голос Воронова звучал в каждом из них — не из рации, а изнутри, из того места, где живёт вина, и долг, и любопытство, и страх, и желание знать, что там, за последней дверью, за последним шагом, за последним словом.

Лана шла второй. Она включила рацию — не по приказу, а потому что не могла не включить. Эфир был чист. Абсолютно, стерильно чист. И в этой стерильности — между белым шумом и тишиной — она слышала: не голос. Дыхание. Чужое. Глубокое, медленное, с влажным присвистом на выдохе. Дыхание того, что не лёгкими дышит, но дышит, потому что дышание — это не функция, а форма существования. Форма, которую оно выбрало, чтобы быть похожим на тех, кто к нему спускается.

Тэмура шёл последним. Перед тем как ступить на лестницу, он оглянулся. Дно озера лежало позади — чёрное, зеркальное, пульсирующее сине-зелёным светом. И в этом зеркале он увидел их отражение — шесть фигур, спускающихся в люк. Но отражение двигалось иначе: они шли вниз, а отражения шли вверх. Навстречу. Из глубины. К свету. К поверхности. К выходу.

Шесть фигур, поднимающихся из того, куда они спускались.

Он не сказал никому. Зашёл на лестницу, закрыл люк за собой — или попытался закрыть. Люк не закрылся. Он остался открытым — чуть-чуть, на щель, через которую пролезал свет, и воздух, и запах живого тела. И голос.

Голос Воронова — теперь не из рации, а из глубины, из коридора, из стен, из воздуха, из самого пространства, которое вибрировало на частоте человеческой речи и говорило голосом мёртвого:

— Быстрее. Люк закрывается. Мы не сможем держать его вечно.

Тэмура посмотрел вниз. Белый коридор. Тридцать ступеней до дна. И на дне — тень. Тень, которая стояла у стены, и её силуэт был силуэтом человека, и она ждала. Не как враг. Не как добыча. Как товарищ, который держит дверь в холод и не может отпнуть, потому что по ту сторону — буря.

— Мы идём, — сказал Серов в темноту.

И темнота ответила — не голосом, а теплом. Теплом, которое поднялось снизу, как дыхание, и обняло их — всех шестерых — мягко, почти нежно, как обнимают тех, кого долго ждали. И в этом объятии была не угроза, а нужда. Острая, голодная, бесконечная нужда — в ком-то живом, в ком-то тёплом, в ком-то, кто спустится и останется.

Потому что те, кто спускается, всегда остаются.

Об этом не говорилось в документации. Об этом не писали в рапортах. Но Дрозд знал. Он всегда знал. И теперь, ступая на двадцать первую ступень — ровно половину, точку невозврата, момент, когда вверх и вниз одинаково далеко, — он прошептал то, что не решался сказать год назад, когда подписывал акт о затоплении:

— Мы не закрывали «Глубину». Мы хоронили её. А она — не умерла.

И с последней ступени — тридцать шестой — он шагнул на белый пол чистого коридора, и пол был тёплым, и стены были тёплыми, и воздух был тёплым, и всё было таким живым, таким нуждающимся, таким ждущим, что Ким — Ким, которая не верила в чудеса, но верила в посмертные рефлексy мозга, — остановилась и тихо, почти беззвучно произнесла:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.